



РАССКАЗ

Худ. Новиков А. А.

Оставив позади город и бухту с перенаселенными пляжами, мы с Титоренко вышли к лобастому мысу и малохоженой каменистой тропкой спустились к морю. Здесь Титоренко сорвал с себя брыль, бросил на землю, снял вышитую крестом рубашку, сел и поднял ногу.

—Тяни!

Я дернул за сапог.

— Силенка есть... Воркутский? Кем работаешь?

— Шахтер.

— О-о,— ощупывая мои руки, протянул Титоренко баском.— А я, признаться, думал ты писарчук какой... Ну, как она, жизнь в Воркуте?

— Нормальная жизнь. С невестами туговато.

Титоренко весело похлопал меня по плечу:

— Был бы жених, а невеста, шахтер, найдется,— осторожно перешагнул через кружевную морскую кайму и загорланил, прикрывая глаза ладонью от солнца: — Хороша чаша! До чего же хороша! — расправил усы, черпнул пригоршней моря и стал полоскать горло.

С Архипом Петровичем Титоренко я познакомился в доме отдыха, за шахматами. Играл он неважно. Однако, даже оставаясь с одним королем,

продолжал сопротивляться, приговаривая: «А ты молодец, парень, соображаешь... Соображаешь, молодец».

Проиграв пять партий подряд, Архип Петрович досадно почесал свой замшевый, вылизанный ветрами лоб и быстро поднялся.

— Ну хватит жеребчиков гонять. Пошли со мною, парень, купаться.

Титоренко годился мне в отцы. Я не был расположен проводить с ним время, но отказать не решился.

И вот этот своеобразный человек, напоминавший собой хвощ в засушливое лето, привел меня на пустынный берег, где не было ни одной живой души, ни одного кустика. Куда ни глянь — морская гладь, мутный воздух да раскаленные камни.

— Хорошо, слышь!? Аж дух захватывает, как хорошо здесь! — взобравшись на иссеченную штормами гранитную глыбу, продолжал шуметь Титоренко.— На пляжах не то что ноге, там пальцу некуда ткнуться. А тут — гуляй человек!

С этими словами он сложил над головой ладони, подпрыгнул козликком и...

шлепнулся животом об воду.

Я поспешил к нему, но Титоренко уже отряхнулся и, удаляясь от берега, погрозил мне кулаком:

— Вернись, шахтер! Кому говорю, вернись! Тут если что... не докричишься.

— А вы?

— Я — что пемза.— Архип Петрович лег на спину и застыл огромным тонколапым «Х».— Немец силком в трех реках топил. И как видишь...

Выйдя из воды, он забрался в короткую тень от горбатого выступа береговой скалы и, обняв острые колени, задумчиво уставился на дымок, курившийся над чертой горизонта.

Тут я вблизи увидел Титоренко раздетым. Вся спина его была разрисована застаревшими шрамами. Казалось, что этот худой человек сшит из отдельных кусочков ткани, из-под которой проступали крепкие, словно канатные узлы, связки мышц.

В горловине бухты, над поплавокми рыбацких сетей, снежными хлопьями кружились чайки. Их гортанные вскрики были единственными живыми звуками в полосе «лобастого» мыса.

Любуясь чайками, я назвал их пернатыми красавицами.

— Ну и вкус у тебя,— криво усмехнулся Титоренко.— Чайка — это та же ворона, разве что белая... Воробей — вот в ком, так сказать, житейская красота.

— Уж если чайка ворона,— серьезно возразил я,— то воробей ваш — муха!

Титоренко кольнул меня коротким острым взглядом:

— Муха, говоришь? — Выбил щелчком из пачки сигарету, помял в пальцах, захохотал:—Туман еще на твоих гляделках. Понял, нет?... Люблю я нашего воробышка! За то люблю, что у него и наш русский характер. Пришла весна — тут тебе и скворцы, и соловьи, и те же чайки. Дохнуло ненастьем — их след и простыл. Они уже в Африке, под пальмами. А воробей... Эх, парень, парень...

Архип Петрович повернул ко мне лицо со строго сведенными полинялыми бровями и насмешливым укором в глубоко посаженных карих глазах:

— Мало ты видел еще. Молод. Воробей и в холод и в голод — с родиной. Есть у нас крыша, он в ее стрихе. Спалили крышу — перезимует в трубе. Вот он каков, воробышек. Даром, что серый.

Титоренко сделал несколько глубоких затажек, помолчал и продолжал неторопливо, сдерживая волнение:

— Помню, в мае сорок пятого года возвращался я с эшелонем отпускников домой. Будто взрывной волной выбросило меня из вагона на первой же русской станции. Огляделся кругом — одни развалины. Видел я, парень, развалины и раньше, и похуже видел, но все то — как бы во сне. А здесь так защемило сердце, словно я сам по буйству сотворил эту разруху. И вот слышу кто-то меня окликает: «Жив?..» Глядь — воробей. Сидит рядом на рельсе, чешется. И такой чумазый, словно в гуталине варился. В печной трубе, должно, зимовал. Крыши-то война спалила.

— Жив, землячок,— отвечаю ему.— Ну, а ты тут как, бедолага?

Воробей деловито запрыгал: «Жив, жив!». Слазил под вагон, нагрузился соломинкой вдвое больше себя и подался с нею.

И стал он мне в тот час милее майского солнца. Да что мне тогда было майское солнце! Висит где-то в небе фонарь фонарем. А воробей со мной человеческим голосом заговорил. Жить не тужить призвал.

Титоренко вздохнул, далеко отбросил окурок.

— Не получилось у меня, парень, сразу житья. По дороге до дому я еще чирикал. А ступил на порог, куда прыть девалась. Жена к другому ушла. Фроськой звали...

Архип Петрович лег на бок, достал из брючного кармана свой паспорт, сунул мне в руки.

К задней корочке, внутри, была приклеена уже пожелтевшая от времени бумажка, извещавшая о том, что командир танка сержант Титоренко Архип Петрович пропал без вести.

— Писарчук, стерва, напутал,— выругался Архип Петрович, пряча паспорт обратно в карман.— Как уж он, леший, и не знаю. А только была у Архипа жена и не стало жены. Опять жених. И что бы мне паниковать. Году мы с Фроськой не жили. Детей у нас не было. А вот заела кручина... Любил я Фроську. Да такую и нельзя было не любить. Красавица. И в работе всегда

коренной ходила. До войны в районе не знали тракториста лучше Фроськи. На что я в ту пору парень был справный и то не поспевал за ней. А запоет, бывало, куда той Руслановой, Кубанская казачка по крови. А нутром, вышло, так себе баба. Другие и поболее с войны ждали. А она... Может, и ждала б, да Тимофей, дружок мой, здорово к ней прилип. Короче, как бы ни болела, а померла...

«Ты, Архип, злобу на них не копи,— сказала мне теща, Фроськина мать.— Я вот, например, своего уже двадцать пять лет жду. А у вас не поймешь, кто виноват. И сам ты писем долго не писал. И я не хотела дочери такой же доли, как моя. И Тимофей — он же, ты знаешь, и девкой еще Фроську любил. А вообще-то война виновата. Проклятая война!.. Я тебя не гоню, Архип. Живи. Мой курень — твой курень. А невеста найдется».

А мне будто голову срубили. Куда без головы пойдешь. Живу! Ем тещины блины. В окно с утра до ночи гляжу. Окно-то на баз выходило. Овчарня там на все четыре угла валилась. Крыша на ней истлела, мхом что коростой обросла. Выйти б мне, приложить руки. А я все сижу, в окно, как в могилу, гляжу. И тут вот мне снова воробей на глаза попался. Квартировал он в стрихе овчарни. Весна. Станица живет впроголодь, и он, воробей, ест недосыта. Худющий такой! Ну и вот. Живет воробей — и я на него глядючи. Однажды без хвоста вернулся. Но, вижу, не тужит. «Жив, жив!» — и баста! Стал я его подкармливать. Насыпал на подоконник крошек и спрятался. Взял. Раз взял, два взял, а потом уже чуть не из рук моих брал. Нарочито не выгляну утром, он сам о себе напомнит. Повиснет на окошке и позовет: «Жив?» А мне утеха. Повеселел я.

Как-то в полночь гроза меня разбудила. Разбередила думки и не уснул я больше. Не спалось, видно, и куцему в эту тревожную ночь. Вылез он из гнезда чуть ли не до свету. Взобрался на крышу повыше и ну горло драть. «И что ему так весело? — гадаю.— В гнезде, небось, воды от дождя полно». Когда слышу писк из гнезда раздастся. «Вон оно в чем дело!» — думаю. Отцом куцый стал. И такая мне радость —

то и гляди сам запою. А вместе с тем и боль на душе такая, как будто сердце поперек стало во мне. Помаялся я до вечера, хлопнул дверью и прямиком через липкое поле подался к правлению МТС, где жила теперь Фроська с новым мужем.

Титоренко встал, покружил по берегу, потом забрел в воду по пояс, освежился и опять лег.

— Говорят, все тещи на один фасон. Брехня это. Брехня. Живу я с тещей, да еще и в доме ее живу, а кроме того, что Настасья Ильинична сама мне матерью стала, ничего о ней сказать не могу. Большой души человек Настасья Ильинична! Она рано овдовела... Хотя речь-то не о ней. Так на чем я... да! Иду полем. Чернозем после дождя сапоги стаскивает. Слышу кто-то догоняет. Оглянулся — не разберу кто. Солнце в тополях застряло и так глаза слепит—в сажне ничего не видать. Пригляделся — Ильинична.

«А-архип!— вцепилась она в борта моей шинели. Надо же — следом бежала. Еле дух переводит. Волосы растрепались. В лице ни кровинки.— А я б тебя и не заметила,— говорит.— Бежечиха Клавдия заметила. Мы вон за дорогой, свеклу пропальваем. Клавдия себе тяткой палец на ноге разрубила. Отстала — перевязывает. Слышу гукает: «Ильинична! Никак. Архип ваш пошел!..» Куда это ты, сынок, на ночь глядючи?»

А сама все давно поняла, виду только не подает.

Хотел я оттолкнуть ее, но Настасья Ильинична ядреная, и рука у ней крепкая. «Не пуцу,— говорит,— Архип. Пойдем домой, хворосту мне нарубишь. Я с утра тесто поставила. Пирог будем печь».

В это время из-за пригорка, пламеневшего маками, на дорогу, вымешенную конскими копытами, положив тятки на плечи, вышли женщины. Их босые, набрякшие ноги увязали в дорожной грязи и звучно взбалтывали румяные лужи. Женщины пели. Про любовь что-то пели.

«Солдатки мои идут,— сказала Ильинична и крикнула: — Вы ж смотрите, девчатки, чтоб мне вас завтра не будить!».

«Девчатки» дружно ей закивали, а одна, что шла прихрамывая, поправила

вылинявшую косынку и помахала нам голой по локоть рукой.

«Это Бежечиха,— сказала Ильинична.— Помнишь ее? Библиотекаршей до войны работала. Мужика ее в партизанах убили. Сама она тож в партизанах была. Теперь у меня в звене заместителем».

Бежечиху я хорошо знал. Помню, Фроська. еще меня ревновала. Засижусь допоздна в библиотеке, а Фроська мне: «Опять с этой стриженной в умников играл». А я и, правда, любил с Бежечихой о том о сем покалякать. Да и она, Клавка, тоже не очень-то гнала меня от себя.

Постоял я, парень, посмотрел девчатам вслед, и такая вдруг тут ворухнулась в моей голове думка: «А кто ж вам, милые солдаты, тятки точит?». И Фроська вроде из головы вон.

«Идем!» — дернула меня за рукав Ильинична.

И я пошел назад. Нарубил теще хворосту, растопил печку и даже сам курагу перебрал. А потом сел в уголочке, на лавке, сдал голову, да и не знаю, сколько так просидел.

«Архип!.. Чуешь, Архип! — подошла ко мне Ильинична, держа испачканные тестом руки, как хирург, на весу.— Не вернется она, Архип», — и тяжело вздохнула. — Силком приведу! — прорвало меня.

«Не приведешь,— мягко возразила теща.— Фроська, знаешь, упрямая. Да и на что тебе птичья любовь.— И, помолчав, тревожно добавила:— Шел бы ты к Тимофею. Не то нынче время, чтобы из-за бабы ни людей, ни земли не замечать. Видел вон солдаток моих? Сколько уж лет колхоз держат сами. Очи проглядели, дожидаячи вас, мужиков. Шел бы. Хватит воробья хлебом кормить!».

Но я к Тимофею не пошел. Не мог я пойти к нему. Он сам ко мне вскорости явился.

На нем был выгоревший офицерский китель, фуражка танкиста со звездой, через плечо кожаная планшетка, простреленная пулей на сгибе.

До войны мы с ним работали трактористами. Воевали оба на танках. Казалось бы, до смерти нам дружить, а вот встретились — и все пошло наперекосяк.

По ранению Тимофей вернулся годом раньше. Теперь он директор МТС. Еще парубком Тимофей поглядывал на Фроську. Но я тогда был побойчее и, не случись войны, жили бы мы все, как кому на роду написано. А вышло-то вон как... И вот явился Тимофей и о Фроське ни слова, ни полслова, будто ее никогда и не было.

Поздравил с благополучным возвращением, походил по комнате, скрипя протезом, сел за столом возле меня и говорит:

—Хватит тебе, Архип, чужими блинами маслиться. Приходи в МТС, бригаду дам.

Лицо у него было чисто выбритое, веселое.

«Ишь ты, налостился как», — думаю.

А я в тот день был так накален, можно бы еще, да некуда. Тут и Фроська и жар какой-то в грудях.

— Зачем явился? — спрашиваю, сцепив зубы.

Улыбается.

— Да может, хоть пол-литра со встречи поставишь.

Я не поленился, сходил в сени, взял бутылку с керосином, поставил на столе перед Тимофеем:

— Пей! Чтоб ты сгорел.

Он отнес керосин обратно, вернулся, да как хватит кулаком по столу.

— Довольно! — кричит.— Довольно языки чесать! Я не прощения просить пришел, а на работу тебя звать. Земля сохнет, Архип! Люди на нас с тобой смотрят. Приходи на усадьбу — бригаду дам.

— После дождичка в четверг,— отвечаю, поворачиваясь к нему спиной.

Ильинична заплакала и полезла на печь.

Тимофей поскрипел протезом возле меня и ни с чем ушел.

В хате сразу заворковали сверчки. Слушал их, слушал, чтоб отогнать от себя всякие дурные думки. А потом накинул шинель, приплелся к старой мельнице, что стояла на пригорке за станицей, упал в траву.

Едва рассвело, мимо меня прогнал колесный трактор подросток лет четырнадцати-пятнадцати с копной нечесаных волос и лицом, густо заляпанным веснушками.

Лихо петляя между заросших бурьяном траншей и воронок, трактор вдруг зафыркал, как загнанная лошадь, и заглох. Выругавшись, подросток соскочил на землю, навалился всем своим жиденьким тельцем на заводную ручку.

Куда мой сон девался: «Вот даст мотор обратную прокрутку, Думаю,— и нет дитя».

— Отойди! — кричу на бегу.

Увидев меня, парнишка весело осклабился:

— Здорово, дядя Архип!

— Здорово, коль не шутишь. Ты чей такой,— спрашиваю,— в племяннички набиваешься?

Он обиженно скривил губы:

— Не признали?— тернул рукавом под носом — Гришка. Бежечихин сын.

Я вспомнил, что у Клавы был сын. Я даже цацку какую-то ему, сосунку Гришке, подарил. Но когда это было...

— Ну раз ты Бежечихин сын, то — знаю, — успокоил я Гришку и поднял капот мотора.

В отстойнике было полно грязи. Возился минут двадцать. Продул трубки, подтянул, что рук требовало, легонько потрепал Гришку за ухо:

— Ругаться выучился, а за машиной не смотришь! Погоняй, Бежечихин сын!..

И больше мне уже, воркутский, и не сиделось и не лежалось.

На усадьбе, где когда-то ровными рядами выстраивались на зиму машины, сразу же бросился в глаза красный от ржавчины ХТЗ с оборванной гусеницей. Рядом валялась нога-протез — собственность директора. Самого директора я не видел, он лежал под трактором.

— Эй ты, хозяин,— кричу,— ногу потерял!

— От ноги той пользы, что и от тебя,— мрачно отозвался Тимофей, громыхая ключами.— Мешает только.

Пятясь, как рак, директор выбрался из-под трактора. Я помог ему подняться. Опираясь одной рукой о буксирный крюк, Тимофей другой, с зажатой в ней ветошью, откинул со лба густую крученую прядь.

— Ну здорово, Архип, раз пришел! — и опять-таки улыбнулся той своей скупой, но едкой, как нашатырь, улыбкой.

И я, заместо ответного приветствия, чтобы хотя чем-то и ему досадить, заметил с ехидцей:

— Техникой, вижу, ты, директор, не дюже богат. Зачем же сопляков таких, как Гришка, Бежечихин сын, за руль сажаешь? И, правда, досадил. Тимофей вмиг сменился в лице.

— А что?!

Я рассказал про свою встречу с Гришкой. Он коротким движением руки смахнул со лба бусинки пота:

— Спасибо, что помог,— и уже спокойно добавил:— Таких, как Гришка, Архип, у меня в штате добрый десяток.

—Как?— удивился я.

— А так! — прорвало Тимофея.— Хорошо еще такие есть. А то б самому и хозяйничать, и ремонтом заниматься, и в поле выезжать. Как?— передразнил он.— Добрые-то станичники там остались, а «какичи», вроде тебя, вернулись!

— Ты не ори! — взорвало и меня.— Я тебе не подчиненный и беспартийный к тому же!

Тимофей скрипнул зубами:

— Ох, если бы ты был партийный! Да мы бы тебя через такие вальцы пропустили, куда б только и дурь девалась!.. Горе, видите, великое у него. Фроська сбежала... Бери ее! Что тарачишься? Бери! А мне ногу свою отдай. Я плакать не стану. На то она и война, чтоб кто-то что-то терял! Ты думал мы тебе слезки тут вытирать станем! Некогда! Помирать будешь — вареников с вишней на поминки закажи. Я люблю с вишней! — и снова полез под трактор.

— Постой! — ухватил я его за штанину.— Давай я!

Он, как бычок, лягнулся ногой:

— Тут я сам. А ты сходи на свеклу. Там Гришке помощь требуется.

В голосе Тимофея была нескрываемая тревога за народное добро, которое мог попортить Гришка. И мне стало так стыдно за то, что я из-за бабы довел себя до слепоты — не видел ни родного колхоза, загнанного распроклятой войной в великую нужду, ни того, как трудно жить было и

работать Тимофею: без ноги, без мужиков, без друга.

Титоренко снова закурил и продолжал, давясь табачным дымом:

— И я пошел на свеклу. С Гришкой все было в порядке. Может быть, потому, что мать шла рядом с трактором и время от времени грозилась хворостинкой сыну. Увидев меня, Бежечиха остановилась...

С того дня как мы последний раз виделись, Бежечиха здорово сдала, похудела, но подстригалась все так же коротко, за что ее и прозвала Фроська «стриженной», и лицо у нее было все то же — строгое, с родниковыми глазами с дремучими бровями.

Клавдия обдала меня холодным взглядом и, не сказав ни слова, побежала догонять сына, придерживая задиравшуюся на ветру юбку.

— Ох, что тут было со мной! — грустно улыбнулся Титоренко. — Обогнал я Бежечиху, смахнул с трактора Гришку, сам уселся за руль... Без малого пять лет прошло с тех пор, как не сидел на тракторе. С какой же радостью ловил я мирный машинный гул. Глотал ветерок, несший навстречу знакомый с пеленок медовый запах степей, вглядывался в зеленые строчки посадок. А следом за мной, будто вихрь, катился, тоже до боли знакомый, сорочиный гомон казачек. Не вытерпел, оглянулся. Бежечиха с сыном стояла в борозде со сбитой на затылок косынкой и была вся какая-то растерянная, сияющая... Я помахал ей рукой. Она тоже подняла руку, но тотчас опустила и принялась что-то вдалбливать сыну, смотревшему на меня злыми глазами.

За нами все время охотилось солнце. Архип Петрович схватил вещи в охапку и передвинулся глубже в тень:

— Ну и жарит сегодня!.. Слушай же дальше. Чем больше оживало во мне доброе прошлое, тем острее я начинал чувствовать, что в нем: недостает главного — Фроськи.

Не знаю, как и получилось, но, вместо того, чтобы в конце межи повернуть трактор, я заглушил его и спустился в сухую балку, где мы когда-то отдыхали с Фроськой. Там по-прежнему цвело много

ромашек, и мне показалось, что на месте, где сидела Фроська, они все еще примяты. А Фроська сейчас вернется и, как в тот жаркий полдень, скажет, дыша в лицо неумной страстью: «И никого там нет за бугром» Архип. Давай, еще посидим...».

Титоренко помолчал, жадно лизнул языком пересохшие губы.

— Скупнемся, шахтер! Чаек давай пужнем...

Плавал Архип Петрович совсем не как пемза...

— Ну и отрава же — это море, — хлебнув им же поднятой волны, пожаловался он. — Потому его так и много, что отрава. Кто станет такую гадость пить. — И видно только сейчас сообразив, что тащит к чайкам и меня, испуганно затормозил: — Поворачивай, слышь? Живо!

Повернули назад.

Вскоре он нащупал ногою дно, и мы пошли. Море опускалось все ниже и ниже.

Мне не терпелось узнать, чем же кончилась вся эта история.

— Спустились в: сухую балку, Архип Петрович. Что же дальше?

— Дальше? — прищурился он. — На трактор я больше не сел. Решил уйти из станицы. Пришел домой. Собрал свои манатки и только из хаты, а навстречу Тимофей. Следил за мной.

— Все свое забрал? — спрашивает.

— Все, — отвечаю.

Подвел к колодцу, вытащил ведро воды, сорвал с меня фуражку.

— Нагинаясь! — и глаза злющие, красные. — Нагинаясь! — приказывает. — Остужу сей час твою горячую, неразумную голову.

Я начал упираться. Он же упрямый черт...

Но не остудила меня и вода. Уехал я из станицы. Где только не топтал землю, не искал своей доли! Был и в Донбассе, и на Урале, города разрушенные по кирпичикам поднимал. Набрался за полгода горького и сладкого. Фроську забыл. Не мог забыть одного. Родного колхоза с Гришкой на тракторе, с Тимофеем под трактором, застиранных бабьих косынок, куцего воробышка на моем окне.

В поезд сел в чем был, к месту он привез Меня ночью... Ах, как же хорошо, шахтер, пахнет воздух на Кубани осенней ночью!

До станицы нашей от станции — километров пять. Я был налегке и хотелось бежать. Где-то далеко слева пылало широкое зарево, там же гудела молотилка. «Никак с молотьбой не управились?» — спросил я самого себя и, свернув на зарево, побежал по стерне.

Меня догнала бричка, запряженная парой. — Это кто тут по ночам бродит. Стой!

Голос был осипший, но я сразу узнал его. — Клава?!

Бежичиха навалилась грудью на борт подводы, уронила вожжи.

— Архип?! Откуда?!

Я не знал, что ответить.

Она дотянулась до меня рукой, притянула к бричке.

— Некогда. Садись подвезу. Потом расскажешь.

В бричке стояли бидоны. От них вкусно пахло нашим борщом.

— Поварихой стала? — спрашиваю Клаву, когда лошади тронулись.

— Мы здесь сейчас все повара, — отозвалась она грубовато. — Дожди не за горами. Третьи сутки без отдыха молотим...

В груди у меня что-то тяжело перевалилось, будто щипцами сдавило горло.

Я молча взял из рук Клавы вожжи, стегнул лошадей.

Впереди все ясней и ясней вырисовывались костры. Их пламя вырывало у ночи кусок чистого неба, добрый гектар ждущей пахаря земли и лицо «стриженной» — усталое, но радостное. И у меня на душе становилось радостней, светлее.

Лошади вынесли нас на ток, залитый ярким светом.

Тимофей сидел на куле с зерном, выбивал из протеза полосу.

Увидев меня, он разинул рот и хотел подняться, но я налетел на него, подмял под себя и мы, как когда-то в детстве, сцепившись в объятиях, покатались по пахнувшей хлебом соломе.

...Титоренко умолк. Походил взад-вперед, низко опустив голову, и снова задумчиво уставился в море.

Оно по-прежнему было пустынно и спокойно. Но внезапно из бухты выскочил легкий прогулочный катер, тяжело груженный отдыхающими. Море за ним сразу же изменило свой цвет, заволновалось и, посылая волну за волной на истомленный зноем берег, выбросило к ногам, Титоренко студенистый грибок медузы, Архип Петрович нагнулся, поднял медузу, долго разглядывал с какой-то жестокой брезгливостью. Затем взвесил на ладони холодно-равнодушно, как взвешивают уже ненужную, потускневшую от времени вещь, и шлепнул о камни.

— Вот так и кончились, шахтер, мои мытарства! — споласкивая руки, заключил Титоренко. — Одевайся. Пора обедать.

Назад шли молча. Титоренко шагал легко и твердо. И можно было подумать, что этот жизнелюбивый простой человек, сумевший защититься и гонимого молвою воробышка, только за тем и ходил к Лобастому мысу, чтобы повстречать медузу, загрязняющую море, и наконец-то расправиться с нею.

Мы еще не раз играли с Титоренко в шахматы. Еще не раз с ним ходили к Лобастому мысу. Но я никогда больше не видел на его лице ни грусти, ни тяжелых раздумий. Титоренко даже в непогоду забредал в море и кричал во все горло:

— Хорошо, слышь! До чего же хорошо!

И мне было с ним всегда хорошо.
г. Краснодар.